

НАСЛЕДСТВО

Матюкая борова, сломавшего загородку база, дед Прокопий забивал последний гвоздь в обрезок доски, закрывшей дыру, когда со двора его окликнул внук Сережка, второй год после армии живший с дедом по благословению матери.

– Дед! Иди пенсию получать!

Прокопий в свои восемьдесят пять лет был глуховат и не расслышал.

– Чего тебе?

Внук подошел ближе, привычно крикнул деду почти в ухо:

– Пенсию, говорю, принесли! Почтальонка вон у Якименков, сказала – пусть идет.

– А чего сама-то не идет?

– А кто ее знает, устала, говорит, сумку таскать.

Прокопий пихнул ручкой молотка в дырку, отгоняя кабана, взявшегося снова грызть доску:

– Пошел, паразит! Я т-т-тебе! – и попытался встать с коленей. Но его качнуло, и он чуть не упал. В ушах зашумело и в глазах все поплыло. Дед закрыл их, удержался за загородку и, помотав головой, заматерился. Открыл глаза: вроде, все встало на свои места.

– Дай руку!

Сережка чуть помедлил, дедова просьба показалась ему странной. Сколько он себя помнил, дед никогда не просил о помощи. Сметывая копны, наравне со здоровыми, молодыми мужиками наворачивал такие навильники сена, что ему, двадцатилетнему, казалось не под силу. И Сережка тянулся за дедом, старался взять еще больше. С покоса шел следом за дедом, такой же плотной, валкой походкой, так же сдвинув на затылок фуражку, как и дед шляпу.

Дед поднялся, опершись на руку внука, мельком взглянул на него выцветшими глазами. Увидев стоявшую у база палку, взял ее и, опираясь на нее, сделал несколько шагов. Обернулся к внуку, все еще стоящему на месте, будто оправдываясь, сказал:

– Хреново мне чего-то, Сережка. Ногу сводит.

Внук, показывая деду, что не обращает на это внимания, громко сказал:

– Я там картошки сварил. Сходи да давай ужинать.

Дед неуверенно пошел к калитке, Сережка вдогонку прокричал:

– Дед! Ключи от кухни дай! Я масла постного возьму, картошку полить.

Прокопий потянул привязанную к поясу веревку, вынул из кармана висевшие на ней ключи, погремел ими, думая: дать – не дать.

– Нет, я сам. Сейчас приду.

Вышел за калитку, опираясь на палку и ругая почтальоншу.

– Э-э-э, щеки-то нажевала, кобыла гладкая. Два шага шагнуть ей лень. Ходи тут с бадиком, да за своим же.

За калиткой попробовал топнуть несколько раз ногой; глядя на поднятую ею пыль, пробурчал:

– Нога еще, паразитка, как неживая.

Минут через пять, высунув из-за забора голову, Анатолий, сосед, заполошно закричал:

– Сережка! Беги скорее, деду плохо!

Сережка бросил крышку на кастрюлю, побежал на соседский двор. Посреди двора, не шевелясь, лежал на земле дед. Рядом в пыли откатившаяся шляпа. Вокруг него, не находя места рукам, стояли сосед Толька Якименко с женой и почтальонша. Видно, что все растерялись и стояли, не зная, что делать, лишь Толька, наклонившись к лежащему деду, осторожно тряс его за рукав, повторяя:

– Прокопий Василич, а Прокопий Василич? Ты меня слышишь?

Но старик лежал, не двигаясь, чуть заметно дергал губами и, не моргая, глядел в небо удивленными глазами. Почтальонша, увидев Сережку, показала на лежащего старика руками, в которых держала бумагу и ручку.

– И главное, я ему деньги даю, а он только взял – раз! – и упал... Я ему говорю: а в ведомости расписаться? – а он лежит. – Она опять протянула к старику бумагу, наклонилась и крикнула: – Прокопий Василич! Ты слышишь? Распишись у меня за пенсию-то! А? Слышишь?

В руке Прокопий, действительно, держал деньги, в другой – ключи от дома, кухни и котухов, которые он уже пять лет после смерти бабки не доверял никому, а сыновьям, рыскавшим, словно волки, в поисках выпивки, – в первую очередь. Они побаивались старика, и после двух-трех попыток силой одолеть его, в синяках и крови, отступались, тая на него неугасаемую злобу. Имея пустые дома в соседних хуторах, измучившихся от их попоек жен и детей, они временами прибывались все же к отчему дому, помогали отцу на покосе или в заготовке дров; и все это за брагу, которую старик наливал им вечером после работы. И сыновья свыклись с этим негласным порядком, установленным стариком; по своей воле, без просьб старика, приходили помогать отцу, зорко наблюдали, не оставит ли где отец хоть на минуту незамкнутой дверь. Но такое счастье – ополовинить бидон с брагой, найти отцову денежную заначку или украсть что-нибудь из добра на пропой – для сыновей было в редкость: старик не забывал о своих замках, проверял их время от времени, а связку ключей, когда ложился спать, клал себе под подушку.

Сережка отвел руку почтальонши, присев, тормозил старика.

– Деда, а дед! Ты чего? Ты меня слышишь?

Прокопий лишь беззвучно открывал рот. Сережка снизу посмотрел на Анатолия.

– Дядь Толь, съезди на почту? Вызови врача, а я пока отнесу его домой.

Анатолию нашлось дело, и он с готовностью кинулся к сараю за мотоциклом. Выведя мотоцикл, все оборачивался, глядя, как внук сгреб в охапку задубелого деда и понес домой. Сергей занес его во двор, приговаривая:

– Сейчас, деда, сейчас, – и оглядывал двери в доме и на кухне, на которых висели замки. Он положил старика на лавку под лапасом и, стараясь отдышаться, стал вынимать ключи из его кулака. Но руки Прокопия словно застыли.

– Дед! Слышишь? Дай ключи, я тебя в избу занесу.

Пробовал силой разжать – бесполезно. Узловатый кулак деда был крепок, как коленвал.

– Да дед же! Дай ключи! Тебе на кровати будет лучше! Ну дай, я хоть лекарства гляну, нашатырь!

Губы деда дергались, в горле что-то хрипело, а сам он не двигался.

– Да что ж ты... я же!.. От же!..

Сережка плюнул и, глянув на старика, побежал к соседям за нашатырем.

Ресницы старика подрагивали, в глазах бежало легкое облако. Было по-летнему тепло, с база, от навоза тянул парной дух; в лозинках, закрывавших светлую рябь на реке, пробовали голос птицы, легкий ветер мерно качал обрывок сетки, висевший на старой вишне, набиравшей цвет. Все это видел и слышал старик словно впервые, как в детстве, когда видеть это и

слышать было время. Потом все куда-то ушло, словно потеряло цвет, заглохло, и солнце за всю жизнь словно только и наладилось, что палить помидоры, которые нужно было поливать, да дочерна напекать шею на покосе и... А соловьи, – «Соловьи!» – вдруг вспомнил старик по этим редким, пока осторожным, коленцам птичьего щебета, – как они тогда пели! Никогда за всю свою взрослую жизнь так и не слышал он их пенья, – не слушал! Он не чувствовал теперь ни своего тела, ни боли, но запахи и звуки – они стали близки и понятны: и это небо с облаком, и качающаяся ветка вишни, и ветер, и пенье соловья!.. И все такое юное, свежее, первое в жизни, той самой, которую Прокопий промотался здесь, на этом хуторе, с которого уезжал только раз – на войну.

Так же ясно, как и соловьиное пение, он услышал загремевшую на калитке за кухней цепь, голоса: это с рыбалки возвращались его сыновья – Федор, и младший, Павел.

– Еще он брехать на меня будет, что я ее без него выпил. Сам втихаря выжрал, пока мы с тобой балберки привязывали. – Голос у Федора резкий и шепелявый, вместо «что» он говорит «хто». Федор бросил во дворе мокрый мешок с сетью и закричал на кобеля, вбежавшего следом и следившего теперь за ним из-под лавки:

– Чего глядишь? – У него выходило «глядох». – Сожрал колбасу, паразит! – Он нагнулся к лавке, помотал перед его мордой сеткой, в которой лежали два соленых огурца. – Огурцы жрать не стал, а колбасу слопал, гад!

Павел бросил под вишню грязные палки от сетки, доставая курево, смеялся. Банку браги он ополовинил сразу, когда еще пришли на озеро, и всю дорогу пьяно смеялся, а теперь ему было так смешно, что он еле сидел на лавке, не в силах даже закурить. Федор увидел лежавшего на лавке отца, окликнул:

– Тятя! Дай от кухни ключ, я нож возьму, рыбу почищу.

Он наклонился к отцу пониже, чтобы громче крикнуть, и увидел его широко раскрытые глаза. Федор замер на секунду, толкнул его в плечо:

– Эй, тятя! – Тихо заматерился и, распрямившись, как пружина, радостно крикнул: – Панька! Прокопия-то нашего родимчик хватил!

Павел вскочил с лавки. Тормошили его оба; Федор стучал сапогом по ногам отца и со злой радостью кричал ему в лицо:

– Что? Кранты тебе, батя? А? Панька, забери ключи, беги в кухню за бражкой. Что? Допрыгался? У-у, зараза! – И пинал Прокопия ногой.

Для старика словно кончилось время, он не знал, удобно ему или неудобно лежать, голоден он или сыт. Тепло, холод, боль – все ушло из него, он мог только время от времени видеть и слышать. Если и возвращалось к нему сознание, то слушал он теперь только соловья, таинственно и радостно певшего в саду, и видел глаза Богородицы с иконы. И еще: он удивлялся, зачем пять лет назад, после смерти Анны, он говорил всем, что выкинет икону, что ругался в Бога...

Казалось ему, что он слышал и видел, как подбегают к нему его сыновья, которых он, как казалось теперь, любил, как любит своего сына глядящая на него из темного угла женщина, похожая на его жену Анну, битую им по молодости смертным боем. Слышал, как кричал Федор на стоявшего в стороне Павла:

– Да подох он, подох, давай топор, все равно так деньги не вынешь!

Казалось, что Федор махал топором и вынимал из руки, – его руки! – деньги и ключи, и бросил их потом вместе с мозолями и темными ногтями, на пол, как из темноты после выглянуло страшное лицо его внука, кричавшего на них и державшего в руках ружье, и два выстрела он уже не слышал, а только видел огненные вспышки, и все дальше и дальше уже мерещились ему оба его сына, лежащие в избе, и внук, кричащий вверх, кажется, ему вослед, и

ему не было уже жалко ни избы, ни скотины, ни раскрытых дверей, а жаль было соловьиной песни и этого вишневого цвета.

То ли чудилось ему, то ли слышалось: предсмертный рев скотины, откуда-то взявшийся тревожный голос дочери Марии: «Что же вы делаете, паразиты, куда все прете? Он же живой... Да что же вы все разоряете? Как же ты, Федька, сына-то не пожалел, а? Ты ж видел: он за деда в огонь ползет». – «Нам ключи нужны! Слышишь: ключи, а Прокопий нам сто лет не нужен – пусть подышает! А ты чего заступаешься?» – «Ведь прибили малого!» –

«А пусть не лезет под горячую руку! Сам же полз первый, нам тоже с Панькой, смотри, как досталось! Он не мой сын, считай – Прокопьево отродье: стопку самогонки не выпьет, какой он мой сын!» Треск ломаемых дверей и звон стекла, пьяные голоса сыновей, распалющихся друг перед дружкой: «Уйди, Машка! Будет с тебя, нажралась в три горла с отца-матери. Как поросят – ей, как корову и картошку – ей, деньги – тоже! Хватит! Дом – наш, мы – сыновья, а свое ты уже проела, – шиш тебе теперь с маслом!» – «Пашка, не слушай его, дурака! Федька, опомнись, оставь все сыну, парень после армии, пусть на него хозяйство останется». – «Уйди, зашибем!» – «Да куда же вы скотину режете? Не дам от живого отца все растаскивать!» – «Панька, дай ей еще! Уйди!! Дай ей, пусть юшки похлебает! Мы свое берем! Слышишь, ты?! Это все наше теперь, наше!! А то: фотографии не бросайте! Не трожь! А я-рь: не трожь. Забирай вон свои фотки, а наши – не трожь. Больше твоего тут нету ничего. Уматывай! А я-рь: уматывай!» – «Господи! Да дождитесь хоть по людски, он ведь пока не помирает!» «Что, не слыхала, что доктор сказал: три дня ему – и все, на четвертый все одно помрет». – «Не трожьте ничего, не разоряйте гнезда своего. Ведь ваше, все ваше будет! Пусть стоит, не разоряйте по венцу, ведь придет минутка, опомнитесь, прилететь ведь некуда будет, где слезу сронить, заплачет ведь и ваша черная душа слезами кровавыми, а омыт ее негде будет. Да Го-о-оспо-о-ди! Что же вы делаете!»

Где же он уже слышал и голос этот, и слова похожие? Он прислушивался и к реву скотины, и к этому голосу, и за ними чудились и давние, все уже поумиравшие дружки, вечно ждавшие его за плетнем в ожидании попойки, и Анна, прячущая от его страшных кулаков за тонкими ладонями лицо с молящими глазами. И звуки, и голоса слились для него в один тонкий, ровно звенящий звук.

Был ли он жадным? Нет. Все: деньги с пенсии, молоко, творог, мясо и сало – почти все уходило им, его детям, а потом – внукам, с которыми он за всю жизнь толком-то и словом не перемолвился, не похвалил. Копил ли он деньги или барахло? Тоже нет. Скорее, пропивал в молодости, пока не бросил пить, а потом лишь жалел, когда сыновья втихую пытались упереть что-нибудь и пропить. Для них же жалел, от них же и прятал. И было это теперь так странно, что они этого, оказывается, не понимали, да и сам он, кажется, теперь только понял, что все бы, наверное, отдал за доброе слово сыновей, такое же доброе, как и взгляд его умершей жены. И он вдруг очень ясно понял еще, что и в глазах Анны всегда было это же самое ожидание: одного доброго его слова, одного его доброго взгляда. И он глядел теперь в эти глаза, которые всегда в той жизни были для него просто нарисованными на доске иконы, и понимал теперь, что и Она, и Анна, видят его молящий взгляд и маленькую теплую слезинку, сбежавшую к его уху, лишь по теплу он и узнал ее.

Был ли он жадным? Нет. Все: деньги с пенсии, молоко, творог, мясо и сало – почти все уходило им, его детям, а потом – внукам, с которыми он за всю жизнь толком-то и словом не перемолвился, не похвалил. Копил ли он деньги или барахло? Тоже нет. Скорее, пропивал в молодости, пока не бросил пить, а потом лишь жалел, когда сыновья втихую пытались упереть что-нибудь и пропить. Для них же жалел, от них же и прятал. И было это теперь так странно, что они этого, оказывается, не понимали, да и сам он, кажется, теперь только понял, что все бы, наверное, отдал за доброе слово сыновей, такое же доброе, как и взгляд его умершей жены. И он вдруг очень ясно понял еще, что и в глазах Анны всегда было это же самое ожидание: одного доброго его слова, одного его доброго взгляда. И он глядел теперь в эти глаза, которые всегда в той жизни были для него просто нарисованными на доске иконы, и понимал теперь, что и Она, и Анна, видят его молящий взгляд и маленькую теплую слезинку, сбежавшую к его уху, лишь по теплу он и узнал ее.

Он понял, что был груб с женой, безразличен к детям, но зла – зла никому не желал; даже в плену, в голом, без единой постройки и тени, немецком лагере, стоявшем в степи, открытом летнему солнцу, обнесенном, словно коровий баз, колючей проволокой, – даже там в нем не было никакого зла, только безразличие. Единственное, к чему он был неравнодушен, – это кошки. Их жило у него во дворе не менее десятка, и все они по очереди подходили к нему, терлись боками о его ноги, садились на его колени, и каждой он давал кусок из своей тарелки, и никогда не только не пнул их ногой, но и не сгонял с коленей.

Вспомнились почему-то отцовы ноги в лаптях, когда тот шагал к реке, а в руках пищали котята, а он все бежал и бежал за отцом, цепляясь за портки, а река была все ближе и ближе, и тот все отпихивал его ногами, больно крутил ему голову огромной жилистой ладонью, но он все бежал за ним, пока лапти не остановились у воды, и в воду плюхнулись два живых комочка; и как, крича от жалости и отчаяния, обхватил штанину и укусил отца за ногу, потом кинулся в воду и, захлебываясь, достал их, а отец выволок его за шиворот, отнял и опять бросил котят в воду и, больно отодрав его, запер, мокрого, в темном чулане. И был теперь он одинок и бессилен, как и тогда, в чулане.

Сознание его выплыло из тупиков памяти, и он увидел, что лежит в своем доме, чистом и светлом, на кровати. Прямо перед ним знакомый угол между двух окон, прикрытых белыми занавесками, среди них икона с мерцающей желтым огоньком лампадкой, и зеркало с фотографией дочери Марии с маленьким Сережкой на руках. А рядом, склоненная над ним Мария, с сухими, заплаканными глазами, заплывшими от синяков. Увидела его открывшиеся глаза и просветлела:

– Пап... Слышишь теперь? Ты чего же ничего не ешь? Четвертый день... А?

Старик медленно прикрыл глаза.

– Не хочешь? А чего так? Тебе же... – Она пригладила волосы на его голове, вытерла платком его лицо. – Врач сказал: дня через три тебе будет лучше. Вот тебе уже и лучше. Я же вижу. Правда? – Отвела взгляд, снова взглянула на него. – Пап, дай мне ключи, а? Чтоб они тебя не трогали. Дай, а то Федька с Панькой придут, двери все переломают. Они теперь корову пропивают, третий день где-то. Сережка за тебя заступался, так они его избили, он в больнице теперь. Ты не волнуйся, ему лучше уже. Приказал тебе не помирать без него. – Мария на мгновение улыбнулась, потом посерьезнела. – Пусть ключи у меня пока побудут. А, пап?

Зрачки глаз у старика остановились, недвижно, задумчиво глядели на огонек лампы и вдруг увидели белую мордочку кошки, вспрыгнувшей на его грудь.

– Поди! – сказала Мария и собралась рукой сбросить кошку на пол, но в глазах старика мелькнула просьба, и Мария поняла. – Пришла... Всю дорогу возле тебя крутилась, ничего не ест.

Рука старика вдруг вздрогнула, раскрылась; Мария взяла из нее ключи. Увидев раскрытую ладонь, кошка подошла к ней и стала тереться и громко мурлыкать.

– Что, папа, лучше тебе? – Мария во все глаза смотрела на отца.

Губы его дрогнули подобием улыбки, Мария наклонилась к нему ухом, и он еле слышно прошептал:

– А кошечки... и в раю есть... Я это зна-а-ю...

Ему самому уже было непонятно: что было для него «сначала», а что «потом». И было ли все это на самом деле или только казалось. Для него теперь все это было «сразу»: и котята, и соловей у речки, и Мария, и Анна, и белая-белая ветка вишни. И уже краешком сознания он вспомнил, как Анна в белом платье и платке держала саженец этой вишни, и ему так хотелось бросить лопату, чтобы подойти и обнять ее.